

ЛЕГКАЯ ВЫПРАВКА. НЕПРИПОДЪЕМНАЯ БОЛЬ

Когда пишешь рецензию — положено сравнивать и цитировать.

Но много цитировать — это почти как подворачивать у читателя. Получается спойлер книжки, где, между тем, все должно быть впервые, как в настоящей любви.

А вот сравнить можно, причем желательно поверхностно, потому что как там на глубине — ведомо одному автору.

А то и ему неведомо.

Сравнения скорей нужны читателю — для того чтоб он смирил волнение и понял, что здесь все свои.

Здесь — все свои, читатель. Здесь — родня.

Так что давайте сравним.

Мы имеем дело с поэтом, который, должно быть, в годы былые умел все, и теперь может позволить себе работать в классической традиции.

Бесстрашие, с которым Мария Ватутина берется за самые непереносимые темы, роднит ее и с Юлией Друниной, и с Ольгой Берггольц.

Это первые фамилии, которые приходят на ум: они будто просятся, чтоб их назвали — хотя

бы из великого почтения к предшественницам, по сути, открывшим фронтовую женскую поэзию в том виде, как мы ее понимаем сегодня.

Женщины много писали и о Первой мировой — но мы тех имен, во-первых, не помним, а во-вторых, та поэтика в основном, увы, умерла. Потому что в основе той поэтики лежало как бы женское рукоделье. Они как бы вышивали, ожидая ушедших мужчин. А Друнина и Берггольц, насмотревшиеся в самом прямом смысле смертей (одна на фронте, другая в блокадном Ленинграде) и пережившие такое, о чем и сказать страшно, резали по живому. И слова находили для этого простые и живые, как боль и как кровь.

А как же, спросят иные, Цветаева — с ее стихами о Гражданской войне?

Как же Ахматова — с ее античной четкости строчками о нашей Отечественной?

А это несколько другая история. Взгляд их — взгляд с небесной почти высоты. В то время как Друнина и Берггольц — живописали, разглядывая описываемое ими в упор. И этот кровавый таз — с бинтами, осколками, человечинной — несли читателю.

Умение Марии Ватутиной состоит в том, что она может и так и так.

Ее госпитальный цикл — по сути своей фронтовая (или, если строже смотреть, прифронтовая) лирика. Реальность там выхвачена настолько четко, что я всех описанных ею покалеченных бойцов не просто узнал типологически — я теперь с каждым из них конкретно знаком. Кажется, встречу — и опознаю, и, не сдержавшись, окликну. Он спросит, вглядываясь: «Ты... у нас служил? Не припомню, браток...» — отвечу: «Да нет, я в стихах Ватутиной о тебе прочитал. Это же ты?..»

Вместе с тем ее философская лирика — религиозная, притчевая, все эти заупокойные поминанья по отчалившей Украине — она совсем иная. Она словно бы свыше явлена.

То есть Ватутина может смотреть в упор, а может — с иных, не вполне доступных глазу расстояний.

Это и есть главное умение в русской поэзии: когда поэт умеет и окопную частушку, и молитву.

Впрочем, что мы все о женщинах — речь, в конце концов, о поэзии вообще.

Читая Ватутину, я куда острее слышу — в зарисовках и лихих интонациях военных, почти фотографических, — симоновскую, твардовскую манеру; а в стихах осмысляющих — блоковскую убежденную силу.

Ватутина любит и умеет рассказывать — нынче совсем редкое в поэзии качество, когда каждый норовит философствовать на мелком месте и, лежа в лохани, изображать, что он уходит на самое дно и даже ниже дна.

Поневоле обрадуешься, когда поэт, избегая лишнего украшения, владея некрасовской изумительной скороговоркой, поведет тебя за собой, повествуя.

Ватутина возвращает поэзии повествовательную ипостась; она — рассказчик в самом прямом смысле.

При всех этих отсылках и аллюзиях, которые можно и далее множить, главное состоит в том, что сущностно Ватутина говорит на собственном поэтическом языке. По сумме прожитого в поэзии — она очень взрослый поэт. Ватутина на всех основаниях — часть традиции и, родственная слишком многому, в конечном итоге не похожа ни на кого.

Очень важное в ней то, что она — пронзительный поэт. Ватутина, и на метр не подходя к пафосу и тем более к психологической манипуляции, способна вызвать сильнейшую сердечную эмоцию; да что там — судорогу.

Но при всем этом — она легкий поэт. Язык подвластен ей. Она не тянет строку, как сеть, собирая по пути ненужные ракушки и лишние

слова — но все делает ловко, хватко, по-русски, по-солдатски.

По-матерински.

И строчка ладится к строке.

И читать эти стихи — не труд, а, несмотря на эту самую сердечную судорогу, вопреки всему — радость.

Читать, говорю, не труд.

Писать — труд.

Да перенесет ее сердце тот груз, что она взяла и несет, — за себя и за всех тех, кто испугался и замолчал тогда, когда слово, наконец, вернуло вес.

Ее слово — уж точно.

Как никто иной, Ватутина имеет полное право носить свою генеральскую фамилию. Ибо она не сдалась и не отступилась. Она явила себя человеком долга, человеком упрямым, деятельным, собранным.

...Наконец, она, в отличие от многих мужчин и тем более женщин, знает, что курок взводят, а не жмут на него.

Тут я, впрочем, уже начал цитировать. А обещал, что не буду.

Вот и не буду.

А то не остановишься потом.

Сейчас сами в этом убедитесь, русские люди.

Захар Прилепин

РОДИНА

Захару Прилепину

Гудящая в веках стальными лопастями,
Глубинная моя, горящая дотла,
Как выживаешь ты, забытая властями,
Как выживаешь ты, не помнящая зла?

Отдав своих солдат на дальние заставы,
Сусеки поскребешь и — в общий хоровод.
Как выживаешь ты, народ моей державы,
Далекий от столиц, столицам тем оплот?

Несуемая ширь, стоишь ты, подбоченясь,
Надмирная, как лик надвратного Христа,
Ты Китежем всплывешь,
 взродишься птицей Феникс,
Воскреснешь, воссияв, — до нового креста.

А как хотела ты? — владелица пространства,
Мать лучших из людей, чистилище племен.
О, я люблю в тебе вот это постоянство,
Охранный твой удел, победный перезвон.

Я в мыслях всю тебя обзираю разом
И вижу каждый двор,
и слышу каждый всплеск

Колодезной воды и ржанье за лабазом,
Ночного костерка дохристианский треск.

Я знаю, как тебе дается пропитанье,
И знаю, как тебе дается ореол
Сияющих границ, вдовиц твоих камланье,
Закланье городов и вымиранье сёл.

Ты знаешь и сама всё о себе, о том как
Растерзывать себя и взращивать себя,
И возвращаться вновь
 в стоических потомках,
По ранним яровым пылищею клуба.